

Даниил Лукич Мордовцев

ТЕНЬ ИРОДА

I

ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ В КИЕВЕ

Весною 1711 года через Киев проезжал царевич Алексей Петрович, возвращавшийся из-за границы, где он, повинувшись указу сурового родителя, должен был дать согласие на брак с Шарлоттою, принцессою вольфенбютельскою¹.

Горек был этот год и для царевича, и для сурового родителя его, и для всей России. Россия, несмотря на страшное напряжение всех своих сил и на громадные всенародные жертвы, предшествовавшие несчастному «прутскому походу», должна была убедиться, что жертвы эти напрасны. Петр, в первый раз после нарвского поражения, давно забытого и стертого с народной и его личной памяти полтавской «викториєю», — Петр в первый раз почувствовал, что и его сердце может ныть болью, что и у него есть нервы и слезы, что и его стальная воля может быть растоплена,

¹ Мать императора Петра II (1694–1715).

перекована на наковальне, какую он встретил на Пруте. Робкий царевич, перед которым во все время его неохотного сиденья за границей над постыдною заморскою фортификациею и профондиметриею носился образ любимой, насильно отнятой у него девушки, олицетворявшей для него образ старой, не менее дорогой ему Руси, также отнятой у него в лице кроткой матери-царицы, — царевич должен был дать слово жениться на немилрой «иноземке» и навеки «завязать свет очей своих», забыть своего «друга сердечного Афросиньюшку».

Это было то горькое время, когда царевич, махнув рукой на свое личное счастье, тайно от отца писал своему любимцу, духовнику Якову Игнатьеву, из Саксонии:

«Известую вашей святыни: есть здесь князь вольфенбютельской, живет близ Саксонии, и у него есть дочь девка, а сродник он польскому королю, который и Саксонию владеет, Август, и та девка живет здесь в Саксонии при короле, аки у сродницы, и на той княжне давно уже меня сватали, однако ж мне от батюшки не весьма было открыто — таили; и я ее, ту девку княжну, видел, и сие батюшке известно стало, и он писал ко мне ныне — как оная девка мне показалась, и есть ли моя воля с ней в супружество. А я уже известен, что батюшка не хочет женить меня на русской — скорей де в гроб положу, чем на россейской тетехе женю, — но

хочет женить на здешней, на иноземке, на какой я хочу. И я писал, что когда его воля есть, что мне быть на иноземке женату, и я его воли согласую, чтоб меня женить на вышеписанной княжне немке, которую я уже видел, и мне показалось, что она человек добр, и лучше ее мне здесь из всех немецких девок не сыскать. Прошу вас, пожалуй, помолись, буде есть воля Божия, чтоб сие совершил, а буде нет — чтоб разрушил, понеже мое упование в Нем, все как Он хочет, так и творит, и отпиши, как твое сердце чует о сем деле».

А сердце самого царевича чуяло недоброе...

Въезд царевича в Киев не представлял никакой торжественности. Да до того ли тогда было? Казна, а вместе с нею князи и бояре, посадские и всякие «людишки с женишками, детишками и животишками» до того обнищали, что у царевича не только не было своего экипажа и корма для лошадей, но и обывальская животина вся пошла на ратное дело. Да и сам царь неохоч был тратиться на прогоны, коли не было горячего, дозарезного дела; так царевичу о торжественности и думать было нечего. Царя непосестного Русь узнавала и в простой телеге: так и сынка грозного батюшки узнавали...

При всем том царевича сопровождал отряд драгун. Начальник отряда, средних лет мужчина, в красивом мундире капитана гренадерского полка,

невольнo привлекал к себе внимание чем-то особенным, что теплилось в его глубоком, загадочно-задумчивом взгляде и перебегало неуловимыми тенями по его бледному лицу, более грустному, чем лицо царевича. И царевич действительно глядел грустно, устало. Отражалась ли грусть царевича на лице его проводника, или у каждого из них было свое заветное горе, только в толпе зрителей и богомольцев, толпившихся у Печерской лавры, когда царевич входил в нее, не могли не заметить чего-то особенного на лице царского сына и его проводника.

— Ох, родимушка! Какой же он с личушка-то щупленький да смутненький — словно бы и у них горе-то бывает, — говорила одна богомолка, стоявшая ближе к драгунам, оцеплявшим проход в лавру.

— Уж и не говори, матушка, за кем горе-то не гоняется горемычное, — говорила другая странница с котомкой. — Може дите по матери убивается.

— Как не убиваться, — заговорил стоявший с ними рядом седой старик, по наружности не то чернец, не то казак. — Там у них в Питере-то не ладно... Последние времена настали... Царевича-то махоньким у матери отняли, а ее-то саму силком в иноческий чин произвели... Сына к матери не пускают, не легко это.

— Кто же не пушает, касатик?

— Все он же.

— Кто, родимушка, не пойму я.

— Сам, говорю, — черный.

Бабы крестятся. «С нами крѣсная сила...

Свят-свят...»

— Три корабля из-за моря пригнал — полным полнехоньки... Пятнасть людей будет: кто ему поклонится — печать назнаменует на ем, кто не поклонится — голову долой.

— Владычица, заступи! — в испуге проговорила первая богомолка.

— Кто се такій, дидушка, рубать головы буде — москаль? — спросила молодая чернобровая девушка, с косой в оглоблю толщиной и с полудюжиной разноцветных монист на загорелой шее.

Старик не отвечал, не отвечал, может быть, потому, что в это время позади толпы раздалось протяжное, тоскливое пение речитативом:

Ой на неби великая сила!

Женив батько неволею сына,

Та не хтив сын та из жинкою жити,

Та й пишов же вин по свиту блудити.

У ограды сидел слепой старик с чашечкой на коленях и пел эту всегда хватающую русского человека за сердце песню про «Алексея человека

Божия». Иные из богомолок стояли около певца и плакали. Солнце светило ему прямо в открытые слепые очи, а он не видел этого света и как бы силился хоть одну светлую точку уловить в окутывавшем его вечном мраке. Рядом с ним сидел семи или восьмилетний мальчик с живыми черными глазенками и пресимпатичным личиком.

— Крошечка-то какой, поди сироточка, — говорила баба с кичкой на голове, подавая ему бублик. — На вот, родненький, бубличка. Откелева вы? А?

— Здалека, тетушка.

— А отец-мать есть у тебя?

— Нема. Мати вмерла, а татка на войны вбито. А слепец продолжал тянуть за душу:

Ой, Олексіечку, та Хрищатый барвинку,
Олексіечку единый мій сынку!

Между тем драгуны, из коих некоторые спешились, вели свой разговор, не обращая внимания на суетню, разноголосое пение нищих и смешанный говор толпы.

— Кабы ежели он не знал такого слова, не отскочила б от него швецкая пуля под Полтавой-то, — говорил один драгун. — Сам я, братец ты мой, видел ее, пулю-то ихнюю.

— Знамо, слово такое есть.

— Ну, а царевич вот-от не в его пошел.

— Не в его — это верно. А добер гораздо.

— Добер, что и говорить... Капитан наш души в ем не чаёт: уж такой, говорит, смирёна да скромник, словно девица красная... Ишь ты, хохол, штанищи распустил — точно он в сарафане.

Замечание это относилось к запорожцу, проходившему мимо и видимо гордившемуся своими шароварами, которые были такой неизмеримой ширины, что в каждую штанину, кажется, можно было посадить по шести человек. Поравнявшись со слепым кобзарем, он бросил ему горсть медных денег.

— Помяни, старче Божій, козака Пивторагоробця, коли вбьють, — сказал он и гордо прошел мимо драгун.

— Ишь ты, знай, дескать, наших, — заметил один из них. — А лихо молодцы дерутся.

— А Мазепка-то ихний как улепетывал от нас, — пояснил старый драгун.

— Что Мазепка! Тот от старости больше.

В это время из ворот лавры вышел начальник драгунского отряда. Лицо его по-прежнему было задумчиво, но менее грустно. Он скомандовал: «На конь, ребята, на конь!» — И все драгуны мигом сели на лошадей. — «Стройся»!

Говор в толпе утих, но тем явственнее слышалось стройное, в два голоса пение,

отличавшееся от пения слепого кобзаря большею, хотя еще более мрачной мелодией:

Ох, как и жили грешницы на белом свету,
Они ели, пили, проклажались,
Телесам своим грешным угаживали,
Грехи тяжкие не замаливали,
Нищим, убогим не даывали...

Это пели два высоких слепых старика — «калики перехожие»², которых вел мальчик с длинной палкой в руках. Палка служила для защиты от собак и для измерения глубины ручьев и речек, через которые каликам переходим часто приходилось переходить вброд. Они шли гуськом. Передний из них держал руку на плече поводыря-мальчика, задний — на плече переднего.

— Народу-то, народу, Господи! — шептала первая богомолка, та, что сокрушалась о царевице.

— Народно — что говорить... со всего ведь российского государства, аки пчелы... потому — чуют последних времен приближение, — тихо отвечал старик, который говорил, что «он людей печатать будет своей печатью».

² Бытовавшее в то время название странствующих по святым местам слепцов, поющих духовные песни.

Пение калик переходящих было покрыто вдруг церковным пением, раздавшимся в ограде лавры. Это братия провожала царевича.

— Идет, идет! — пронесся говор по толпе. Калики остановились как вкопанные. Капитан окинул взором своих драгун, толпу и вскочил на лошадь, которую держал под уздцы один из солдат.

Показался царевич. На лице была все та же усталость, вдумчивость какая-то, робость.

Вдруг неизвестно откуда выполз из толпы старик в очках, в подьяческом, затасканном платье и на коленях подполз к царевичу, держа обеими руками на голове какую-то бумагу. Царевич остановился, почти попятился назад.

— Кто ты? — тихо спросил царевич.

— Нижайший и подлеший раб вашего царского величества, приказу артиллерии подьячий Микишка Бортнев.

— В чем твое челобитье? — спросил царевич.

— Всемилостивейший, благоднейший, благоутробнейший государь царевич, сын святой матери нашей восточной церкви и сопрестольник всея российской державы, призри благоутробием щедрот милости своей, ради имени всещедрого милостивого нашего владыки высокопрестольного царя славы, подаждь ми, старцу убогому, милостыню — вели, государь, челобитье мое принять и по оному милость учинить! Государь,

смилуйся, пожалуй!

Все это он проговорил одним духом, точно выпалил из своего беззубого рта, и когда царевич взял челобитную, подьячий поклонился и поцеловал землю.

— Лобызаю подножие ног твоих, — прошамкал он и снова пополз в толпу. Толпа расступилась перед ним как перед зачумленным. В то время, когда существовали застенки и пытки, когда одно произнесение «слова и дела» увлекало вместе с произносившим его десятки жертв на «дыбы» и «виски», а потом на виселицы, на колеса, на колья, подача челобитной казалась чем-то страшным.

Ползущий на коленях странного вида человек с бумагой на голове, странная, необычная речь его, целование земли — все это произвело такое сильное впечатление на толпу, повеяло чем-то до того страшным, словно вот-вот идет что-то неведомое, что-то случится, что-то как бы уж за плечами стоит, или выйдет из земли, из пещер что-то невиданное, неожиданное... а тут сам царевич, сын того великана-царя, который творит что-то непостижимое, страшное, за моря неведомые ездит, по воде ходит, старину святорусскую гонит... а сколько крови-крови-крови... Все это неуловимое что-то, что-то безотчетное крыльями повеяло над толпой — толпа застыла...

— Ох, лишечко! Вже й поихали! — раздался вдруг голос в толпе.

Толпа очнулась от кошмара. Царевича уже не было.

— Ой, матинко! Треба доганять! — продолжал звонкий голос толстокосой с массою монист на шее киевлянки.

Действительно, кто смог — бросился догонять. Вдали виднелась пыль, а из нее выделялась, в профиль, поникнутая голова царевича да статная фигура скакавшего впереди своего отряда драгунского капитана. Толпа хлынула за бегущими. У лавры остались только нищие, слепые да старые.

— Се мимо иде — и се не бе... Буди благословенно имя Господне, ныне и присно и во веки веков, — произнес седой странник, говоривший о печатании людей, и перекрестился двуперстным крестом.

— О-ох, грехи наши тяжки... последние денечки приходят, конец светушка, — захныкала первая богомолка. — Поди и капустку осенью не успеем собрать, как свет переставится.

II

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕЙ

Яркое весеннее утро. Невдалеке виднеется

Киев, расползшийся по зеленым горам, полугорьям и косогорьям, которые как бы играют с зеленью, то прячась в нее, то выглядывая из-за нее на синее небо, на синий Днепр и на синюю даль левобережья. На синеве неба отчетливо вырезаются купола, главы и золотые кресты церквей. Видно даже, как над колокольнями кружатся голуби, всполошенные звоном колоколов.

Голубая масса воды, называемая Днепром, тихо, словно бы апатично, катится куда-то вдаль, к теплему югу, катится годы, столетия, как катилась она даже тогда, когда на месте Киева ничего еще не было, как катилась и тогда, когда в нее гляделся Перунице-идолище со своими металлическими усами, как и тогда, когда в нее сбросили это отжившее идолище, и тогда, когда по ней плыли послами к Ольге «старые мужи» древлянские... Святослав чубатый, Олег вещий, Нестор, разбавлявший свои летописательские чернила водой этого Днепра, а там и козаки, гетьманы, батьки отаманы, и Голота, и Палий, и Богдан, и Мазепа, и москали — все это носила на себе эта голубая масса воды и ничего не оставила ни себе, ни людям на память.

— А я что после себя оставлю, чем бы имя мое вспоминалось после смерти вот этого капитанского тела? Гренадерский мундир, который останется на съедение моли, когда меня положат в

гроб в мундире Страшного суда — в саване?..

— Что ты скачешь на меня, пес — давно не видал что ль? Цыц, постылый!

Так говорил сам с собой и со своей собакой знакомый уже нам гренадерский капитан, который сопровождал царевича Алексея Петровича в проезд его через Киев.

Он шел берегом Днепра, возвращаясь, по-видимому, с ранней охоты. Через плечо у него перекинута было ружье тогдашнего неуклюжего образца, а из охотничьей плетеной сумки торчали куличьи носы и ноги. Лицо его было спокойно, не грустно, хотя отражало на себе внутреннюю работу мысли и тихую раздумчивость.

Да, действительно, мысль его вся разбрелась, разбилась в образы прошлого, в воспоминания, в воспроизведение пережитых ощущений. То этот задумчивый Днепр с кигикающими над ним чайками, то тихо звонящий колоколами Киев, убравшийся в зелень, словно голова девушки в «любисток» и «зори» — заслоняли перед ним прошлое, то это прошлое с его воспоминаниями заслоняло Днепр и Киев, и мысль жила за десятки лет назад, там — там, далеко к востоку, почти у Волги, за Пензой. «Вася! Вася! Грачи прилетели», — слышится ему веселый, звенящий голос старшего брата Гараси.

И невыразимой мелодией отдается где-то в

сердце и в нервах неистовый крик грачей, которые на черных своих крыльях принесли откуда-то весну с ее журчащими ручьями, звенящими в небе жаворонками и квакающими в пруду лягушками, квакающими так весело, как потом они уже всю жизнь не квакали.

— Вася! Слышишь, как кричит потатуйка? У нее там, под рощей, гнездо в старом пне, и дети уж вывелись — я видел, — снова как бы над Днепром проносится голос Гараси.

Братья бегут к старому пню, а за ними с неистовой радостью несется и жучка-собака, которой тоже хочется посмотреть гнездо потатуйки. А роща и ложбина стоном стонут от птичьих голосов...

И куда все это девалось? Куда отлетел из сердца этот рай? Куда девались звуки, краски? Даже грачи вылетели из сердца и унесли с собой весну.

Откуда-то холодом повеяло на детское сердце Васи. Зима пришла — не та зима, что приносит с собою беганье по льду пруда, выслеживание по лесу вместе с жучкой зайцев, ловлю красногрудых снегирей, нет — другая зима... Отец воротился из своего города, из Пензы, такой пасмурный. Приходит батюшка-священник. Тускло горит свеча.

— Последние времена настали, — говорит батюшка. — Уж оклады с икон обдирают... святые

колокола на пушки переливают...

— Царевну Софью Алексеевну в монастырь заточил, — говорит отец.

— Кто заточил? За что? — спрашивает себя Вася.

— А на Москве страсти — и не приведи Бог, — говорит снова отец, — стрельцам головы рубит словно кочаны капустные... мертвые тела на колесах, а головы на кольях гноит.

— Последние, последние времена, — повторяет как бы про себя батюшка, — таковой кары Божьей не бывало, как и Русь стоит.

И Васе страшно становится. Он уже начинает кого-то бояться, не любить.

И на деревне мужики говорят с ужасом.

«Всех в немецкую веру повернуть велел».

«Бороды всем бреет, а кто не дается — лучинкой выжигает волосы-то».

«Сказывают на базаре в Пензе: у коих стрельцов головы отрубил, велел у мертвых голов бороды сбрить».

Это — первые исторические сведения, запавшие в впечатлительную головку Васи... А слухи все растут и растут, и все чудовищнее становятся рассказы... Последние времена, антихрист, ожидание, что вот-вот придут клеймить, печатать людей, класть антихристовы знаки... Сны, видения рассказываются... С неба упал свиток,

предостерегающий людей от грозящей им конечной гибели... Колокола ночью плачут... Звезды хвостатые и кровавые по небу ходят... Видели кровь на снегу... Из Казанской иконы текли слезы — полну дароносицу натекло...

Из Москвы воротились мужики, сказывали: были они на Москве, ходили на площадь смотреть, как их односельчан, двух братьев Соболяков, привязали на костре и сожгли живьем. Младший брат задыхался в дыму и все кричал: «Православные! Не отступайте от истинной веры! Умрите, а ее, матушку, не выдайте! Истовым крестом креститесь!» — Так и задохся на этом.

Прочь-прочь эти детские воспоминания! Их и старику так впору пережить... Мимо-мимо, горькое прошлое!

Вон как чайка плачет... И вспоминается слышанная тут, в Киеве, песня:

Киги-киги! Злетевши втору,
Прийшлось втопиться у Черному мору...

«Нет, горько на чужой стороне... — снова думается ему. — Вот уже десять лет я на государевой службе — много побродил по белу свету, многое видели глаза мои, многое по сердцу ножом прошло... И боярин князь Борис Алексеич Голицын знавал меня, и сам «Данилыч» знавал

меня, и Шереметьев... А уж ни к кому так сердце мое лицом не повернулось, как к царевичу... Не красна его жизнь...»

Вдруг где-то в стороне, у Днепра или в самом Днепре, раздается отчаянный женский крик. Точно льдом обдало нашего капитана. Крик повторился — еще отчаяннее — какой-то рыдающий, умоляющий, смертный крик. Собака стремглав бросилась к тому месту, откуда неслись вопли — через заросший бурьяном пригорок. Капитан за нею.

На берегу, у самой воды, безумно мечется молодая женщина — то она ломает руки и точно к небу подымает их, желая за что-то ухватиться, то бросается в воду, плывет, ныряет и снова рвется к берегу с воплем, задыхаясь, захлебываясь. Увидев человека и собаку, она с ужасом присела в воде и закрыла лицо руками — она была голая... Но тотчас же опомнилась.

— Проби, проби! Ратуйте, кто в Бога вируе, — хрипло закричала она.

— Что, что случилось?

— Панночка, панночка моя втонула...

— Где? Давно?

— Отнуть — онтам — зараз, — говорила она, указывая, в глубь.

Несколько секунд достаточно было, чтобы на землю полетело ружье, сумка, кафтан...

Перекрестившись, капитан ринулся в воду и

исчез в ней.

Страшные минуты ожидания длятся... длятся... о! Как беспощадно длятся!..

А его нет — нет ни его, ни той, что уже погибла, может быть...

Нагая, молоденькая девушка, та, что толкалась в толпе у лавры в день приезда царевича, та толстокосая с монистами девушка — это была она — безумными глазами глядела на воду, протянув вперед обе руки, как бы собираясь броситься туда и утонуть... Громадная, растрепавшаяся, намокшая коса окутала ее всю словно плащом...

А его нет... их нет!.. Пропал и он.

Собака завyla жалобно-жалобно и, стремглав бросившись в воду, начала отчаянно кружиться по поверхности и выть.

Но он не пропал. Он вынырнул далеко ниже по течению; но он был один.

Собака радостно завизжала и бросилась к нему. Он тяжело дышал.

Девушка плакала как-то тихо, совсем по-детски и почти беззвучно.

Сбросив с себя сапоги, наполненные водой, и разорвав ворот рубахи, который, казалось, душил его, капитан снова скрылся под водой.

Опять секунды — годы ожидания... раз... два... три... сердце перестает ждать, перестает

биться... Но все же легче страдать, умереть, лопнуть от ожидания, чем совсем уже не ждать...

Еще дольше — еще страшнее... Даже собака не выносит: она еще жалобнее начинает выть к небу, словно молится...

«Су душа панночки», — безумно представляется чернокозой девушке, потому что чайка, пролетая над ней, жалобно выкрикнула.

И вспомнилось ей почему-то, как сегодня еще панночка вишни ела... Девушка снова заплакала как ребенок...

Ух!.. Из воды вынырнула голова; но это не панночка, это он... но он что-то тащит... ближе-ближе... Это панночка! Панночка!

Вот он подплыл ближе... становится... приподымает из воды... видно белое тело, свесившиеся руки, а головы не видать... вот и лицо, но — оно мертвое...

— Ще живи? — как-то шепотом спрашивает девушка, словно боясь разбудить утопленницу.

Он молчит, бережно поднимая тело и заглядывая в лицо труп. Неужели это уже труп? Это молодое, прекрасное тело — формы точно выточенные из слоновой кости, — личико, полужакрытое мокрыми волосами — неужели это труп?

Шатаясь и тяжело дыша, он выносит ее на берег... Собака с боязнью смотрела на все это...

— Куда нести? — порывисто спрашивает он. — Где она жила... где живет она?

Тут только девушка вспомнила, что она голая... Срам... но не до того теперь, не до стыда...

— Скорей! Куда ж нести? Где?

— Ось, паночку... онтам по-за садом...

— Накрой ее сорочкой — юбкой...

И он бережно отнял ее от себя, вытянул руки — она пластом лежала на его руках, — руки и ноги болтались, голова откинулась назад...

Ее накрыли простыней. Он нагнулся, чтобы ловче обхватить ее и приложить голову к плечу.

— Не класть, не класть панночку на землю! — с испугом закричала девушка.

Он ее бережно прижал к себе и торопливо понес.

Девушка наскоро накинула на себя сорочку, юбку, дрожа и крестясь, и, захватив панночкино белье и вещи капитана, бегом пустилась за ним.

Он шел через пригорок, спотыкаясь и едва не падая. Собака следовала молча, поджав хвост и опустив голову. Вот из-за зелени виднеется крыша домика, крыльцо... Он чувствует... Господи! Да чье же это тело теплое?.. Ее?.. Или это он согрел ее своим телом?.. «Всесильный! Спаси!..» Да это ее тело.

«Вася! Грачи прилетели!» — послышался вдруг голос... Нет, это в висках стучит, это в сердце

стук и голоса...

Что это?.. У утопленницы вода ртом хлынула... В теплом трупe чувствуется трепетанье...

«Вася! Вася! Грачи прилетели!» — теперь уже явственно слышится.

Но вдруг и зелень, и домик, и небо, и Киев, и грачи — все исчезло.

Он остановился... зашатался... застонал... Девушка бросилась к нему — с отчаянным усилием ухватилась за свою панночку — вырвала ее...

Когда она опомнилась от секундного потрясения — панночка... панночка открыла глаза!

А он лежал на земле, широко раскинув руки... Собака лизала ему лицо и тихо выла.

III

ЛЕВИН И ОКСАНА

Герой наш очнулся в незнакомой комнате на низенькой, но мягкой постельке. Оглянувшись, он заметил на себе тонкую полотняную сорочку с маленьким воротом, вышитую синими и красными узорами по-малороссийски. Комната была небольшая, но светлая, чистенько прибранная. Перед образами в богатых окладах теплилась лампадка. По стенам висели ружья, сабли, дробницы, пороховницы, торчали сайгачьи рога.

Над самой кроватью висели две картины, нарисованные яркими масляными красками. На одной было изображено побоище Козаков с татарами. Для вящего уразумения мысли и тенденциозности картины, художник счел благоразумным на левой стороне картины, внизу, подписать: «Се козаки», а на правой стороне: «А се прокляти татаре». Общая подпись под картиной гласила:

Оттак козаки гостей пріймають,
Доброю горилкою напувають,
На списи мов кабанив здіймають,
Гострими шаблюками упень рубають.

На другой картине изображен был всем известный запорожец, который сидит под деревом (дерево похоже на пальму, но это — явор), пьет горилку, играет на бандуре, а конь, привязанный к воткнутому в землю «ратищу» (копье), с нетерпением роет копытами землю. Под картиной — также всем известная подпись, поражающая своей неожиданностью: «А чого ты на мене дивишся?» и т. д. Это — историческая картина, целые столетия поражавшая и досель поражающая грамотных украинцев. Подходит человек полюбоваться на картину или на портрет и вдруг с удивлением читает: «А чого ты на мене дивишся?»

Невольно человек берется за бока и хохочет.

Улыбнулся и герой наш, взглянув на картину.

В это время дверь комнаты приотворилась, и из-за косяка робко выглянуло прелестное женское личико. Герой наш, пораженный этим видением, невольно приподнялся на локте и перекрестился, словно бы то было ангельское видение. Видение, со своей стороны, радостно воскрикнуло, перекрестилось и, закрыв вспыхнувшее краской лицо рукавом, исчезло за дверью.

«Вася! Грачи прилетели! Весна пришла», — слышится в сердце неведомый голос, и сердце чувствует, что действительно весна пришла... весной, теплом повеяло к сердцу... Вспоминается берег Днепра, страшная, зеленая вода, омут, скользкие, холодные камни под водой... звон в ушах, точно все киевские колокола сошли в Днепр и звонят-звонят... Но вот нащупывается что-то живое, мягко-упругое... плечи... волосы... груди... а звон все страшнее... солнце, свет, зеленый какой-то, точно вода... И вдруг — грачи, весна...

Дверь опять отворилась, и в комнату с робким, но радостным лицом вошла женщина, уже почти старушка, одетая просто, по-украински, но изящно, как одевались тогда жены козацкой старшины, горожанки.

— Благодареніє Господу, я бачу, що вам полегшало, — сказала старушка, — а нам так

страшно було за вас.

И она подошла к постели: «Вы спасли от смерти нашу дочку — Бог наградит вас, а мы весь век будем за вас молиться...» И она перекрестилась, взглянув на образа. «За кого ж нам молить Господа Бога? Скажите, будьте ласкови, ваше имя, отечество и звание?»

— Меня зовут Василием, Савин сын, Левин, войск его царского величества гренадерского полка капитан, — отвечал Левин (так звали нашего героя). Говоря это, он приподнялся на постели.

— Лежить-лежить, будьте ласкови, Василій Савич.

Левин чувствовал слабость, но он быстро припомнил все, что случилось.

— Не беспокойтесь, государыня, я совсем здоров. Но как ваша дочка? Что с ней после этого ужасного случая? — быстро заговорил он.

— Слава Богу, слава Богу! Налякала вона нас — и теперь страшно, як згадаю. А Бог миловав — здоровенька, як рыбочка, тилько по вас дуже убивалась бидна дитина. «Я, каже, повинна буду в его смерти». Дуже плакала, як прійшла в себе, гляючи на вас. Теперь треба їй порадовати. Оксанко! Оксанко! Ходи сюда, дитятко! — громко сказала старушка, обращаясь к двери.

Видение повторилось. В двери опять показалось прелестное личико. Но теперь оно, все

пунцовое до кончика ушей, не закрывалось уже рукавом. С глазами, полными слез, девушка подошла к матери, не смея взглянуть на своего спасителя, крупные, как горошинки, слезы не удержались на длинных ресницах и покатались по щекам: то были слезы радости, благодарности и — стыда. Последнее, а отчасти и первое чувство заставило ее броситься на грудь матери и разрыдаться совсем.

— Годи-годи, дитятко! Ты бачишь — им легче — вони слава Богу... Годи ж, Оксаночко, — говорила мать, глядя по голове девушку. — Треба ж тобі и подяковати Василя Савича... Не плачь, не соромься — вони тобі тепер як отец ридный.

Девушка открыла заплаканное лицо и перенесла свои большие, серые как шкурка змеи, глаза на Левина. Левин, в свою очередь, весь попунцовел. Ему казалось, что он никогда не видел такой чарующей красоты, хотя очарование это не могло не усиливаться от того потрясающего драматизма, который столкнул его с этой девушкой — где же? — у порога смерти.

— Я рад... — начал было Левин, но на этом и прекратилась его речь — лексикон его истощился.

— Подякуй же, дурна, чого стоишь? — настаивала мать.

— Дякую, — прошептала девушка.

— Я рад... — И опять вышел весь лексикон

его.

В это время под окном жалобно завывала собака. Девушка встрепелулась. Большущие глаза ее засветились еще больше.

— Се вона по вас, — быстро сказала она Левину, — так убивалась бидна...

И мигом выбежала из комнаты. Старушка улыбнулась и покачала головой. «Дурна дитина — молода еще». Через минуту девушка явилась с собакой. Последняя радостно взвизгнула и бросилась к Левину, сисясь достать до его лица.

— Ну-ну, будет-будет! Обрадовалась? — сказал Левин, глядя собаку и отталкивая ее от себя.

Лексикон его для разговора с собакой оказался обширнее, чем для разговора с девушкой. И последняя, в свою очередь, в присутствии собаки стала смотреть на Левина смелей.

— Ох, яки ж мы дурни! — заторопилась старушка. — И подяковати вас не вмили, а тепер и не спитаємо — чим вас частувати? Чого б, скажить, вам принести покушать? У вас другій день и крошки во рту не було...

— Благодарю вас, сударыня, — мне ничего не хочется. Я только смею спросить вас — у кого в доме я нашел такое гостеприимство? Кого я должен благодарить за оказанную мне помощь?

— Мій муж — сотник малороссійских его царского величества войск Остап Петрович Хмара.

Вин тепер с царем у Туречини, на войны. А се наша дочка — Оксенією зовуть. Ото ж вона и надилала нам клопот, а вам ши бильш, та спасиби Богови, вызволив вас од смерти... Та що ж се я, дурна, разбалакалась як сорока, а не те щоб вас нагодувати та напоити.

В то время, когда суетливая старушка топталась на месте и тараторила без толку, ее «Оксения» не оставалась без дела. Она, по-видимому, состояла уже в большой дружбе с собакой Левина и охотно разделяла ее радость: пес поминутно скакал то к ней, то к Левину, стараясь поцеловать или хоть лизнуть своего хозяина или хорошенькую панночку. Последней это очень нравилось, и она весело отбивалась от собаки и смеялась, а Левин с удовольствием смотрел на девушку и дружески ей улыбался.

— От — дурна дитина! — опять затараторила старушка, глядя на дочь. — Чи давно ж таки ще Бог та добрый чоловик спасли од смерти, а воно вже и забуло, дурне — с собакою грається... А вже й не маленька — девятнадцате лито пишло як пип свяченою водою облив та Оксенією наименовав... Ох, лишечко! Та с тобою, дурне, я й сама здурила...

И старушка выбежала из комнаты. Остались только Левин, «дурна дитина», как выражалась старушка, и пес. По выходе матери, «дурна дитина» разом присмирела и хотела было ускользнуть, но

Левин остановил ее.

— А вы, Ксения Астапьевна, благополучно оправились после того несчастного случая? — спросил он ласково.

— Слава Богу, благополучно, — отвечала девушка, защищаясь от собаки.

— А очень испугались тогда?

— Я не помню.

— Ермак! Не трогай панночку — пошел! — обратился он к собаке, которая совсем заполонила панночку, на что последняя не особенно претендовала. — А скоро вы пришли в себя, когда я вас вынес из воды? — снова спросил он.

— Скоро... Як вы упали... тут я дуже злякалася — я думала вы вмерли.

— А кто эта девушка была с вами?

— То наша Докийка.

В это время дверь растворилась, и сама Докийка влетела в комнату. Она несла поднос, уставленный всякими яствами, питиями и ласощами. Докийка тоже вся побагровела, вспомнив, в каком костюме она познакомилась в первый раз с этим паном — одна распущенная коса защищала тогда ее девическую скромность. Теперь эта коса заплетена была жгутом и представляла подобие доброй оглобли, оканчивавшейся зеленой и голубою лентами. На крепкой шее и высокой груди, выпиравшей из-за шитой сорочки,

рассыпано было с полчетверика всяких бус и стекляруса, при малейшем движении издававших такой звук, словно бы ломовая лошадь встряхивала своею наборною сбруей. Босые, красные, хотя соразмерные ноги ступали твердо; короткая юбка-сподница обнаруживала икры невообразимого в наш тщедушный век размера. Метнув своими большущими, черными как шпанская вишня глазами на пана, она потупила их и снова побагровела, когда счастливый Ермак хотел и ее облапить, полагая, что в этот радостный день со всеми надо целоваться. Докийка поставила поднос на стол и за чем-то снова побежала. За нею хотела ускользнуть и сама панночка, но Ермак, доселе не освободившийся от телячьего восторга и все еще надеявшийся лизнуть свою приятельницу в самые губы, зацепился лапой за ее манисто.

— Не пускай, не пускай, Ермак, — весело сказал Левин, который при всей своей слабости чувствовал какой-то прилив радости и теплоты, — не пускай.

Девушка засмеялась и точно брызнула из своих глаз в глаза Левина током света.

— Ой! Вин манисто порве, — сказала она, отстраняясь от собаки.

Докийка опять вошла своею бойкой походкой, опять метнула на пана черными глазами, звякнула манистами так, что Ермак бросился сначала к ней, а

потом к подносу с яствами, и постлала на стол новую, принесенную ею скатерть. Вместе с панночкой они стали расставлять на столе кушанья и тихо перекидываться словами, относящимися к делу.

Левину казалось, что он дома, в родной семье. Что-то давнее, детское проснулось в нем при виде этих милых, приветливых лиц, и ему хотелось встать, обнять всех, рассказать им все, все, что он пережил, передумал, почувствовал. На душе у него было легко и светло, как в этой светлой приютившей его комнате-светлице.

— Как же это ты, Докийка, не доглядела за панночкой, что она чуть не утонула? — шутя спросил он.

— Вони не слухали, — отвечала Докийка, потупясь. — Вони дуже далеко плавали.

— А теперь уж вы далеко не будете плавать, Ксения Астафьевна? — спросил он саму Ксению.

— Ни, теперь вже нас одних мама не пустиме...

— Таки й правда, буде вже, докупались трохи не до смерти, — затараторила старушка, переступая через порог и таща какие-то новые ласощи. — Сидить тепер дома, або купайтесь у корыти, як утятя.

— Ну, мамо — яка ты! — возразила Ксения, ласкаясь к матери.

— Добре, добре, а все ж таки у Днипр — ни ногою.

— Ну-бо, мамцю, — мы у бережечка.

— Ни-ни, и не проси... Другий раз Василій Савич не полизе за тобою, и так он до чого довела чоловіка... Сором та й годи! Може ще й не встане...

Ксения как ужаленная бросилась к Левину, закрыла лицо руками и заплакала. Слезы так и закапали сквозь пальцы.

— Ксения Астафьевна! Что с вами? Ради Бога, успокойтесь! Матушка пошутила, — говорил встревоженный Левин, приподымаясь с постели.

Девушка продолжала рыдать... «Я — я...» Рыданья не давали ей выговорить ни слова.

— Господь с вами! Ксения Астафьевна! Да успокойтесь, ради Христа.

И Левин схватил руку девушки. «Успокойте ее, прошу вас!» — обратился он к матери.

— Ну, годи ж, годи... — заговорила та, глядя дочь по голове. — То-то, дурне — само наробило добра, та самой плаче... Ну, буде вже — наплакалась.

— Я, мамо... вони... я не хотела... вони не вмруть...

И она вновь зарыдала... Все пережитое в эти дни — и личный испуг, нравственное и физическое потрясение, стыд, боязнь за другого, который едва

не погиб, спасая ее, а может быть, еще и умрет по ее вине, все, что для другой менее крепкой натуры могло разрешиться горячкой, тяжелой болезнью, все это разрешилось рыданиями, которые копились в молодой груди с того момента, когда Ксения, очнувшись на руках своей горничной и собравшись с мыслями, увидела, что ее спаситель лежит мертвым на земле. Теперь, когда мать сказала, что, быть может, «он не встанет», молодая энергия лопнула, как не в меру согнутая сталь, и в Ксении сказала женщина. Она рыдала неудержимо. Встревоженная мать топталась на месте, гладила и крестила ее. Даже мужественная Докийка струсила и утирала рукавом слезы.

— Постой-постой, я зараз...

И старушка бегом, словно бы у нее были Докийкины ноги, пустилась куда-то из светлицы. Левин сам не выдержал — заплакал (передрыга этих дней и у него разбередила нервы). Он потянулся, схватил руки Ксении и, целуя, обливал их слезами... «Ради Бога... ради Господа Всемогущего», — шептал он.

Тут только опомнилась девушка... Она высвободила свои руки и, глядя в глаза Левина и сквозь слезы улыбаясь, говорила: «Я не буду, не буду — не плачьте вы — простить мене!..»

— Ось-на! Выпій, доню... се свячена вода... зараз полегшає, — сутилась мать, притащившая

склянку с святой водой, — пій, доню — оттак, оттак...

И она перекрестила дочь. Девушка выпила глоток.

— От-бачишь? Разом усе прошло од святой воды, — уверенно говорила старушка.

И действительно прошло. «Дурна дитина» успокоилась. Она мельком взглянув на Левина, вышла из светлицы, а за ней вылетел и Ермак в полной уверенности, что ему дадут теперь целую миску хлеба, размоченного в малороссийском борще, вкус которого он уже знал.

Старушка принялась потчевать своего гостя. Докийка стояла у стола, сложив руки на богатырской груди.

— Будьте ласкови, покушайте трошки. Оце печени курчата, оце порося холодне с хрином, оце свижа ковбаска, пампушечки, огирочки... Може выпьете сливянки, медку... Ото яблучка квашени... павидла... покушайте на здоровьячко — вам и полегшає.

— Много вам благодарен, почтеннейшая... Я не знаю вашего имени-отчества, — говорил Левин.

— Олена Даниливна мене зовуть.

— Благодарю вас, Елена Даниловна, но мне теперь ничего не хочется.

— О! Як же ж можно! Ни-ни! Хворому треба пидкрепы... хоч курятинки трошки.

Левин должен был повиноваться и попробовал цыпленка.

«Я бы охотно выпил чего-нибудь холодненького», — сказал он.

— Медку? Кваску?

— Квасу бы.

— Докіе! Бижи — хутко — нациди квасу.

Докия побежала. Монисты ее производили такое звяканье, словно проходил взвод стрельцов, когда они шли убивать князя Долгорукова, сказавшего, что после убитой щуки всегда остаются зубы.

— А вы були на войны? — спросила любознательная старушка.

— Как же, со шведом воевал, тоже и в полтавской виктории участие принимал. За свою службу его царским величеством, а особливо светлейшим князем много взыскан, также и его высочеством царевичем, коего удостоился сопровождать от града Львова, что в Червоной Руси, до Киева, — отвечал Левин служебным тоном.

— Так се вы провожали царевича? — с удивлением спросила старушка.

— Я, Елена Даниловна.

— То-то недаром наша служка Докійка казала, що бачила вас с царевичем у лаври, а потим признала вас, як вы вже лежали у нас хвори. Мы

думали, що вона так-собі меле.

Звяканье монист возвестило пришествие Докийки. Она принесла квас. Вслед за нею вошла и Ксения. Она казалась смущенною.

— Мамо, — сказала она тихо, не глядя на Левина, — прійшли москали-драгуны, питаються — чи не у нас их начальник, копитан Левин? Кажуть — пропав. Та кажуть, що Ермак — его собака. А Ермак як побачив москалив — зараз до их... такій радый.

— Та так же, доню: Левин Василій Савич — се ж вони, их начальник, копитан... Вин же ж тебе, дурна, и из Днипра вызволив.

Девушка при этих словах взглянула на Левина и остолбенела. Краска сбежала с ее лица. Докийка смутилась и покраснела. Ей казалось, что у них — сам царевич. Она вспомнила Днепр, воду, себя...

IV

ПРИЗНАНИЕ И РАЗЛУКА

Время шло, Левин совсем поправился благодаря теплым попечениям старушки Хмары, хорошенькой Оксаны и добросердечной, всею душою преданной им Докийки, которая была ровесница своей панночки, училась у ней разным молитвам, а ей пела песни, рассказывала сказки и не чаяла в ней души. У обеих девушек были

прекрасные голоса, и, как кровные украинки, они звенели ими от утра до ночи, особенно когда Левин совсем оправился и девушки заметили, что он любит их пение. А Левин действительно любил песню потому, что сам он был весь исполнен самого страстного лиризма. Энтузиаст по природе и лирик, он, в силу своего времени и тогдашнего мировоззрения, не мог никуда направить мощь своего внутреннего лиризма, кроме как в религиозную страстность, в религиозный мистицизм. Мысль его, как мысль поэта, всегда выливалась в живые образы, в мистические представления. Оттого еще в детстве и ранней молодости, когда молва о стрелецких ужасах, о кровавых расправах Петра со сторонниками царевны Софьи и старых порядков доходила до его родного вотчинного села Левина, в пензенско-саранской глуши, и доходила уже в легендарной форме народного и отчасти раскольничьего творчества, в уме и в пылком воображении молодого Левина созидались целые образы, и в конце концов перед ним выступал страшный образ апокалипсического антихриста, с его соблазнами, направленными на разрушение мира, с его таинственной «печатью» — погибельным клеймом этого всесильного, человеконенавистного зверя. Против реализма начала XVIII века, реализма, в фокусе которого

стоял Петр I, боролся такой же могущественный и едва ли не более реализма устойчивый идеализм, который приютился в поклонниках старины, в расколе, ушедшем в леса, дебри и пустыни и умиравшем, умиравшем бесстрашно, геройски, на кострах, на плахе, на кольях и от самосожжения, — идеализма, который господствовал и в мягкой, поэтической душе царевича Алексея Петровича, хотевшего лучше отказаться от могущественного трона всероссийского, чем от своего «друга сердешново Афрасиньюшки» и от своих демократических симпатий. К этому разряду людей — к идеалистам начала XVIII века — принадлежал и Левин. Только это была едва ли не самая энергичная личность из всех тогдашних противников грубого, прямолинейного аристократического реализма, которому должно было служить все, как падишаху, не рассуждая, не чувствуя, даже не понимая его. В пензенском захолустье родилась такая странная личность, как Левин, которого не прельщали ни карьера, ни власть, ни нажива, ни блеск; и между тем все это происходило не от природной инерции духа, а от глубокой поэтичности природы, от лиризма, который не мог найти исхода потому только, что Левин черпал всю свою школьную мудрость у дьячка своего села, где отец его был помещиком-вотчинником, и высшее образование

его заключалось в беседах с левинским попом о «сложении большого перста с двумя меньшими». Окончательную шлифовку характер Левина и его симпатии получили в среде мужиков, рассказами которых о своих нуждах и чаяниях он и напоен был как губка. Понятно, что Левин не любил военной службы, и хоть дошел в 10 лет до капитана гренадерского полка, однако гренадерский мундир не наполнял всей души его, как он наполняет души многих.

Зато все, в чем был широкий разгул и простор для фантазии, — все это любил Левин. Любил он и песню.

Вот почему, когда хорошенькая, с своим симпатичным контральто Оксана и звонкоголосая Докийка выходили вечером на берег Днепра и, сидя у воды, пели глубокопоэтические песни своей родины, Левин готов был слушать их пение всю ночь вплоть до зари. Особенно глубоко западала в его душу мелодия песни:

Туман, туман по долини,
Широкій лист на ялини,
А ще ширшій на дубочку,
Поняв голуб голубочу —
Та не свою, а чужую...

И когда песня доходила до того места, где

девушка плачет о своем милом, голоса певиц действительно выражали этот безнадежный плач, и Левин чувствовал, что в его жизни начинается что-то роковое и что не легко ему будет оставить этот дом, где весна просилась в его душу... И он слышал в себе эту весну. Тут уж не одни грачи прилетели, а соловьи запели в сердце...

Как бы то ни было, но, поправившись совсем, он должен был оставить дом Хмары.

Раз вечером, когда девушки сидели на берегу Днепра, Левин, стоявший до того времени на крыльце и прислушивавшийся к словам песни —

Пишла б лучче я в черниці с чорною косою,
Не терпила б я горечка оттак молодою —

Левин подошел к ним и молча стал глядеть на воду, на то место, где он нашел утопающую Оксану.

— Идить до нас, Василій Савич, — позвала его Оксана. Она уже совсем привыкла к нему и не стыдилась его, как в первый день.

Левин молча подошел.

— Сидайте и вы коло нас, — продолжала девушка. Он сел рядом с Оксаной.

— Я заслушался сегодня ваших песен, — сказал он. — Какую это вы сейчас пели?

— Про чумака да про молодицю, що задумала

с своею черною косою в монастырь итти, — отвечала Оксана, которая была на этот раз особенно разговорчива.

— Какой у вас голос славный, Ксения Астафьевна, — сказал Левин, — и у Докийки богатый голос...

— А чом вы нам не заспиваете вашей московської песни, — перебила его Оксана. — Я чула, як москали спивали — якость — «Не будите мене молоду» — чи-що... Таки гарни песни... Заспивайте ж нам, будьте ласкови.

— Что ж я вам запеваю, Ксения Астафьевна? У меня все невеселые песни.

— Ну хоч невеселу.

— Да я давно не пел — боюсь, не сумею.

— Ни, ничего, мы послухаємо. А то й мы николи не будем вам спивать.

— Хорошо... Вот разве эту — мою любимую.

И он запел известную тогда, разнесенную по всей России опальными стрельцами и понизовую вольницую песню:

Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка,

Не мешай мне, добру молодцу, думу думати...

Левин пел хорошо. Как идеалист того времени, в сердце которого далеко западал всякий протестующий против насилия голос, он принял к

сердцу и эту протестующую, предсмертную песню удал-добра молодца, который накануне казни исповедывал всенародно, в песне, ставшей после него народной и бессмертной, исповедывал свою жизнь, свою вину, и Левин пел страстно, словно бы его самого ожидала завтра казнь.

Девушки слушали внимательно, боясь проронить слово, звук, выражение голоса. Они так и замерли при звуках незнакомой им песни, которой смысл и мелодию они, как дети поэтической Украины, чуяли сердцем.

— Оттак у нас недавно Кочубея та Искру посикли — головы одрубали, — сказала Оксана задумчиво. — Тато сам бачив, як их рубали. За то ж Бог и Мазепу покарав. А бидна Мотря Кочубеївна... Я бачила її, коли вона була вже черникою...

— А Мазепу вы видели, Ксения Астафьевна? — спросил Левин.

— А як-же-ж! Вин у нас часто бувал, коли жив тут у Кіиви на гетманстві. Я тоди була ще маленька, то було посадовить мене до себе на колина та й сміється: «Ой-ой, боюсь, каже, боюсь! Яки в тебе, каже, очи, Оксанко, велики... Як-бы, каже, такими очами замість пуль стріляли в мене татари, то пропав бы я зовсім». А потім уже казали, що вин хотів узять за себе Мотрю Кочубеївну, а там и сам пропав.

— А в полтавской баталии батюшка ваш принимал участие? — спросил Левин.

— Принимав. Я тоди ще в монастыри вчилась.

— Так вы учились в монастыре?

— Чотыри годы вчилась.

— А я панночки ласоци в монастырь носила, — вставила в разговор свое слово Докийка.

— Вот как! Так и ты была черничкою? — шутя спросил Левин.

— Ни, пане, я так ходила.

— Чему же вы там учились, Ксения Астафьевна?

— Божественному писанію... На крылоси спивали... «Трубу» Лазаря Барановича читали³: оце яка бувало в нас провиниться, ту зараз и заставляють читать «Трубу», а вона зараз в слезы.

— Отчего же? И что это за «Труба» такая?

— Книга така, зовется «Труба», Лазарь Баранович написав... И поплакала ж я над сею «Трубою»! Така трудна, така товста, що Господи!

Левин невольню засмеялся — так ему понравилось это наивное признание.

— А вы, верно, большая шалунья были в

³ Украинский церковно-политический деятель и писатель, сторонник присоединения Украины к России, оставляя независимость церкви от московской патриархии.

монастыре? — спросил он.

— Я у матушки игуменьи закладку бувало в «Патерици» перекладую, а вона й забуде, на якому святому остановилась, та зараз и каже: «Се певне лупоока коза Ксенька Хмара переложила...» То вже мени й несуть «Трубу», а я плакать.

В это время на Днепре, вдали от берега, слышались голоса. Сквозь вечернюю темноту можно было различить, что плывет лодка, наполненная людьми. Сидевшие в лодке говорили по-русски.

— Се москали, — тихо заметила Докийка.

Действительно, слышна была великорусская речь.

— И указал он, братец ты мой, запереть все улицы — «прешпехтивы» по-ихнему, чтобы никто по ним, значит, не ходил и не издил, — говорил один голос.

— Как же так? А коли дело есть — идти или ехать надо: как же тут быть?

— Поезжай в лодке по Неве али по Невке.

— Да как же я до Невы-то доберусь? Все же надо улицей идти.

— Ни-ни! Ни боже мой! Пророй прежде канаву, да в лодке и поезжай. А коли ты пошел либо поехал по улице — тотчас ноздри рвать, да в Сибирь.

— Верно.

Далее слов не было слышно, а немного погодя раздалась песня, доселе звучащая по всей русской земле: «Вниз по матушке по Волге».

Оксана и Докийка слушали эту песню, притаив дыхание. Левин тоже сидел молча, не будучи в силах освободиться от тяжелого впечатления, произведенного на него болтовней солдат, болтовней, которую, однако, повторяла вся тогдашняя, взбудораженная и напуганная петровскою дубинкою, Россия.

Из-за сада, за которым стоял дом Хмары, слышались окрики: «Докіе? Доко! Де ты?» То кричала Одарка, наймичка в доме Хмары, ходившая за панскими коровами, телятами и свиньями и отлично умевшая готовить колбасы для самого гетмана Мазепы, до которых покойник был «вельми ласый». «Докійко! Де ты, иродова детина!» — повторился окрик.

— Ось-де я, бабусю, — отозвалась Докийка и бросилась к дому.

Левин и Оксана остались вдвоем. Оба молчали. Первым заговорил Левин.

— Эта песня всегда напоминает мне детство и родную сторону, — сказал Левин. — Я слышал ее на Волге, маленьким, когда мы с отцом были в Саратове. Мимо Саратова проезжала большая косная лодка, и на ней пели эту песню. Сказывали тогда, что то была понизовая вольница. Воевода

послал команду перехватить лодку, так те не дались — из ружей палили. Одного казака ранили. А после опять грянули песню — так весь Саратов сбежался на берег. Так прихлась мне по сердцу их песня, что я, маленьким, сам думал уйти куда глаза глядят, чтоб потом стать атаманом, вроде Ермака Тимофеевича, и идти в Ерусалим — отбить его у неверных. Да так на том и остался. Взяли меня в царскую службу, дослужился я до капитана, мыкался по белу свету, и опостылела мне эта служба. Заскучал я. Если б мне не думалось послужить после нашему царевичу, — полюбился он мне, — так я бы давно ушел в монастырь, на Афон, в Святую землю. Опостылела мне Русь, тянет куда-то в страны неведомые. Да я и уйду.

Девушка сидела молча, потупив голову. При последних словах Левина она вздрогнула и еще более потупилась.

— Только у вас, пока я лежал больной, я и увидел свет Божий, — продолжал он. — Да не надолго и это. А теперь опять пойду горе мыкать по свету. Буду вспоминать ваше добро и молиться за вас. Завтра надо собираться в путь, указано мне быть в армии. Не вспоминайте меня лихом, Ксения Астафьевна...

Что-то как бы хрустнуло около него. Он взглянул на Ксению. Она стояла, стискивая руки и ломая пальцы. Белая «хусточка», которую она

держала в руках, как-то странно дрожала.

Левин встал и нагнулся к девушке.

— Ксения Астафьевна, — тихо окликнул он ее.

Молчание, только пальцы на руках девушки хрустнули.

— Ксения Астафьевна! Что с вами? — с испугом спросил Левин.

Девушка судорожно рыдала, припав лицом к ладоням, Левин растерялся. В вечерней тишине откуда-то доносились слова песни:

Ой гаю мій, гаю, великій розмаю,
Упустила соколонька, та вже й не піймаю...

А из-за Днепра по воде в гулком воздухе несло к этому берегу треньканье русской балалайки и слышалось, как под это треньканье солдатик отчетливо выговаривал:

Ходи изба, ходи печь,
Хозяину негде лечь...

Девушка застонала и рванулась было уйти.

— Ради Бога! Ради Бога! — взмолился Левин и старался удержать ее. Девушка дрожала всем телом.

— Ксения... Ксения Аста... фьевна... Боже

мой!.. Что с вами?

— Вы... вы вже... я...

Голос срывался, слова пропадали. Левина жаром обдало... «Грачи — проклятые грачи прилетели... я упаду...»

— Вы... из воды мене... у смерти взяли... — растерянно бормотала Ксения.

Левин припал губами к ее руке: «Я... я не могу... я пропаду...» — шептал он.

Если бы в это время он взглянул в лицо Ксении и если бы мрак не окутывал его, то его поразило бы выражение этого лица: зрачки глаз расширились как у безумной, страшная бледность покрыла щеки, за минуту до того горевшие румянцем, во всем лице, в повороте головы, в складках бровей разом явилось что-то зловещее. Она вся как бы застыла, превратилась в камень, в мрамор, в статую. Но это было только одно мгновение. Едва Левин, сам не зная что делает, стал гладить ее голову, точно маленькому ребенку, девушка вздрогнула и, обвив руками его шею, заговорила задыхающимся голосом:

— Ох, утопи мене... утопи сам, своими руками... Я не хочу без тебе жить... утопи мене... Чом ты тоди не втопив мене, як я потопала? А тепер покидаешь... Утопи ж, утопи...

Дальше она не могла говорить — нечем было: губы ее были заняты... Ни о каком потоплении

дальше не могло быть и речи, потому что...

— Оксанко! Оксанко! — раздался голос матери. — Де ты, донько?

Руки девушки разжались. Разжались и его руки... А за Днепром неугомонный москаль продолжал вывертывать:

Ходи изба, ходи печь,
Хозяину негде лечь...

Вот так-то все в жизни идет вперемешку.

V НАЧАЛО КОНЦА

— Стоим мы эдак, братец ты мой, у самого Прута — река такая турецкая, Прутом называется... Уж и подлинно «прутом» она, окаянная, вышла для нашей армеюшки; а так левая, непутящая речонка, а поди ты, дала себя знать, подлая... Ну и стоим, не емши, не пимши стоим, от гладу помираем. А он, значит, турецкий визирь с янычены навалился на нас с трех стран. И откуда нелегкая нанесла эту саранчу, и как царь со своими енералы в экую западню попал — один Бог ведает. Эдак, примером, мы стоим, а эдак он, визирь проклятый, и эдак он: куда ни повернись, везде он. И очутились мы, братец ты мой, словно рыба в верше. Как тут быть?

А царь-то с царицей еще не знает об этом: он с своими енералы подале стоял. Ну, как дать знать царю? Мы-то маленько окопались, да за окопами и ждем смертушки, словно овцы в кошаре. Отсюда и турецкая рать нам видна. А чтобы до царского отряда дойти, надо чистым полем проходить: это все равно, отец родной, что под турецкий прицел стать. Ну, и выискался, слава Богу, охотничек. Уж и дьявол же его знает, что это за окаянная башка была! Из здешних, из малороссийских полков — запорожский казак, черкашенин. Стоим мы эдаким способом за окопами, исповедуем грехи свои Господу, как вдруг видим: по этому-то по чистому полю дьявол скачет, запорожец: шапка на ем не шапка, кафтан — не кафтан, штаны — не штаны, а все это, братец ты мой, словно на черта шито, да не ему досталось, а этому черкашенину. И пес его знает, где и как он из-за окопов выскочил, точно из земли вырос.

Рассказчик замолчал, потому что в это время из соседней комнаты послышался говор. Старческий голос немножко в нос и нараспев возвещал: «Истинно глаголю вам — он подлинный антихрист. Внемлите сие: в некоем монастыре, во время Пасхи, содеяся таковое чудное видение: в ночь пресветлого Христова Воскресения Отцы и братия монастыря того в часовне заутреню пели; такожде и матери, и сестры вси во своей половине,

в той же часовне, у заутрени стояли; некая же из них богобоязливая жена в болезни лежала, не можаше на пении стояти, и в келии своей пребывала; вышед на переходы посмотреть на часовню, и се виде страшное и ужаса исполненное чудо: видит она бесов во образе немцев и ляхов, якоже видел таковых бесов во образе ляхов преподобный Феодосий печерский⁴; и идут те бесы к стене часовенной и по стене идут, яко мыши цепляющесе, и бысть бесчисленное множество бесов, с яростию на часовню идущих; и егда оные бесы приблизились к дверям и окнам, и внезапно изыде из часовни, из окон и из дверей, пламень огненный, с яростию свирепо исходящ и на бесов нападающ, попаляя их, аки мотыльков; и бесы аки изумленные с ужасом бежали от часовни, вопиюще: «Поидем во град Питер, помолимся господину нашему антихристу, да повелит бесчисленнейшей рати бесовской напасти на часовню сию». И как бежали бесы от часовни, и пламень тот опять окнами и дверьми в часовню вошел. И по малом времени приидоша бесы несметною ратию и,

⁴ Будучи игуменом Киево-Печерского монастыря, он первым ввел общежительный монастырский устав по греческому образцу, является автором ряда поучений и посланий.

вооружившись своим бесовским свирепством, паки ко оной часовне, ко дверям и оконцам, аки мошицы малые устремилися, хотяще в часовню внити. Пламя же из часовни оконцами и дверьми паки свирепее первого исхождаше и бесов пожираше. И бежаху бесы с шумом. И в третий раз пришли бесики аки дождь бесчисленны, и с великою яростию покрыли всю часовню. И паки свирепое пламя пожрало оных и разметало, и вси исчезоша аки дым, вопиюще: «Антихристе! Антихристе! Помози нам!» — таково бысть чудо. Жена та явственно слышала, яко антихрист во граде Питере царствует».

Гугнявый голос замолчал. Слышались только вздохи из соседней комнаты.

— Ишь безлепицу городит об антихристе, — заметил рассказчик. — Это он все сбивает с толку капитана Левина... Жаль бедного капитана...

— Ну, а ты, дядя, не слушай их, — говорил молодой ратник старому рассказчику. — Ну, что ж черкашенин-то, запорожец — что дальше-то? Выскочил он, говоришь ты, на чистое место...

— Вот как только выскочил это он на чистоту, — нам его видно, как на ладони, — и зачали, братец ты мой, в ево турки жаром жарить, то есть, я тебе скажу, так жарили ружьем да стрелою в этого самого беса-запорожца, кажись, целым дождем в его сыпанули!.. Мы стоим только

да крестное знамение творим: «Приими, Господи, душеньку на брани убиенного во царствие Твое». Ну, и чего ж он, окаянная его, прости Бог, башка бритая не выделявал только! И уму непостижимо, а рассказать — и не спрашивай. Уж такие штуки вывертывал, окаянный, и он, и лошадь его, — так, и лошадь-то не мудреная, — уж такие-то вавилоны творил, что и сказать нельзя... Уж он, братец ты мой, кружил-кружил, вился-вился, как уж на солнышке, и на эту-то сторону, шельма, перекинется, кажись, так башкой и хлопыснется оземь, и на ту сторону, подлец, перегнется, под самое-то черево лошади; и припадет-то он к луке и гриве, словно мать родную али любушку обнимает; и откинется-то на седле навзничь, головой к самому хвосту, ну, так, кажись, и хряснет у разбойника спина; и с лошадью-то шарахнется в сторону... То есть и черт его разберет, какие узоры выводил он, бес, во образе человека!.. А турки все лущат в ево — лоп, лоп, лоп! — и все мимо, все мимо... Вот уж шельма ездить, такая шельма, каких я и отроду не видывал. На что донские казаки люты на ездю, а и тем далеко до этого бритого черта. Уж подлинно черт! И какая ево черноглазая шельма-мать на свет породила! Так-таки и ускакал целехонек к самому царю — только мы и видели его.

— Ну, и что ж потом было, дядя?

— Да все то же. Ждали смертного часу.

— А для чего ж турки не ударили на вас?

— Да надо так полагать — силу копили, подмоги поджидали, чтоб заразом нас порешить.

— Ты говоришь, запорожец скакал к царю с вестями, — продолжал расспрашивать молодой ратник, — так зачем же турки не послали на переем своих конных?

— А посылали... Кто ж тебе говорит — не посылали. И с ихней стороны выскочили двое енычен. Как учили это они полем-то гнать за черкашенином, так из Кропотова Гаврилы полка, что окопался поруч с нами, ловко попотчевали их свинцом, так обоих и ссадили с коней.

— Как же вы потом выбрались из-под Прута-то? Баталия была?

— Баталии были раньше, а тут нас хотели голыми руками взять, как дудаков в гололедицу. Да спасибо матушке-царице, Катерине Алексеевне, выручила.

— Как?

— Да так, красотой своей да умом. Как уж плохо совсем пришлось царю, как прискакал к ему наш запорожец с вестями, что так и так-де, в вершу-де щука попала, выхода нет армеюшке, и сила турецкая, несметная, окружила со всех сторон, так, сказывают, матушка-царица и пошла прямо к турецкому визирю, входит к нему в шатер и говорит: «Читал ты, визирь турецкий, святое

Писание?» — «Читал», — говорит. — «А читал ты, как Навуходоносор-царь напал на Ерусалим-град?» — «Читал и это». — «Помнишь ты, как тогда Соломон-царь послал к ему, к Навуходоносору-царю, жену свою, прекрасную Соломонию, и как Навуходоносор-царь, пораженный ее красотой, ослеп, а прекрасная Соломония, взяв его меч, отрубила ему голову и принесла ее к Соломону на золотом блюде? ⁵ Помнишь, говорит, это?» — «И это помню», — говорит визирь турецкий. — «Так теперь, говорит царица, видишь ты, визирь турецкий, мою красоту?» — «Вижу», — говорит. — «Так знай же, говорит, что и с тобой будет то же, что с Навуходоносором-царем, ежели ты не покоришься русскому царю». Ну, и говорят, — визирь турецкий покорился⁶.

Разговор этот вели между собою в лазаретной избе, в Нежине, двое ратных людей — один старый,

⁵ Речь идет о Навуходоносоре Олоферн и Юдифь во время осады города Ветулии, ставших прототипами библейской легенды.

⁶ Одним из факторов заключения мира был подкуп турецкого визиря драгоценностями будущей русской царицы Екатерины Алексеевны.

участвовавший в памятном прутском походе, а другой — молодой солдат. В соседней комнате лазаретной избы, в офицерской палате, находился Левин, который давно уже числился больным.

Действительно, с тех пор, как он узнал, что Оксана Хмара любит его, по его жизни проехало тяжелое колесо и изломало всю его душу. Он был неузнаваем. Что-то зловещее светилось в его глубоких, глубоко запавших глазах. В четыре года он состарился лет на сорок. На лицо его легла мрачная тень, и тень эта, как несмываемый загар души, залегла в каждую складку тонких морщин лба, засела в очертаниях губ, под глазами, темнела в горькой улыбке, в самом блеске глаз, зрачки которых сделались больше, темнее, стоячее, как у мономана-фанатика.

— Егда прииде антихрист и нача свой бесовский град Питер строити, именуемый «парадиз», сиречь рай пресветлый, в поругание якобы раю небесному, — доносилась гугнявая речь из офицерской палаты, — и нача со вся российской земли народ сгонять на строение бесовского града того, нача землю рыти и самозванные реки, сиречь каналы, проводити, идеже Бог не повеле рекам быти, и с того часу бысть глад в русской земле — хлебный недород и частые зябели, нивы престаша соспевати, и быша подати и оброчи велии, и ратное дело непрестанное, мало

старцев согбенных летами и ссуших младенцев не брали в солдаты, и колокола церковные, и иконные оклады, и ризы в пенязи нача обращати да в пушки, и оттого посети Бог российскую державу скудостью велию, и мором, и гладом, и немцы. И от той скудости начаша люди солому ржаную сеци и кору древесную толочь на муку, и начаша хлебы соломенные и древесные ясти — точию раствор ржаной, а замесь соломенной и древесной муки. И те соломенные хлебы в куче не держалися — помялом из печи пахали да в властяжные бураки и коробки клали. И такова стала скудость хлебная, что днем обедают, а ужинать и не ведают что, многожды и без ужины живут. Того ради бесовским научением, по антихристову велению, начаша матери кур и телят красти и детей своих в пост скоромным кормити. И бысть оттого на русскую землю Божие попущение. Приим антихрист державу — нача всех мучити бесовскими муками: начаша у людей животы пухнути от вхождения во чрево с неблагословенною пищею бесов, и люди кричаху дома и на обедне, мятеж велий по всяк час, и о землю бьются аки оглашенные, и бысть крик неподобен и ужаса исполнен — неподобными гласы кричат по весем и градом мужие и жены, старцы и юницы, и малые робятки. И тем юницам и робятам начаша бесы являтися в немецком образе, имея брады оголенные и немецкое одеяние на себе

носяще, и приносили им еству всяку тайно и кормили их, заказывая никому не поведати о том. И бысть чудо в Выговской святой пустыни на Выге-реце⁷. Видевше старцы пустыни тоя таковое дьявольское на юниц и робят нападение, начаша оных девиц и парней спрашивать, и: приказывали сказывати им, старцом, когда к ним оные бесы подходят и что приносят. И иные из них, как бесы к ним невидимо подходили, начали сказывати старцом и указывати на тех бесов. И бесы, гневаясь и ярящися на них, начали на них нападывати и бити их лютея, и егда кто скажет, что бесы пришли, наущают-де хлеб и кур у старцов красти, и тех бесы о землю бросали и вельми били. И начаша святии старцы о сем зело скорбети, понеже и в окрестных, и в дальних обителях масло, и кур, и телят, и огурцы соленые, и грибы белые, и рыбу бесы воровали и девкам на поседки носили, и начаша выговские и керженские и иные пустыножители молити всемилостивого Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и Пречистую его Матерь,

⁷ Один из центров раскольниковства. В нем велась активная хозяйственная и культурно-просветительская деятельность. Организовывалась учеба иконописанию, грамотности и переписка книг. В начале XVIII в. стал литературным центром старообрядчества.

Пресвятую Владычицу Богородицу, и частые молебны пети начали и оных девок и парней на молебнах под евангелие водить и над ними святое евангелие по мног час читати. И запретили отцом и матерем детей своих на поседки и на инья бесовские сборища отпущати. И от такового бесовского нападения бысть на всех страх и ужас не малое время. И начаша бесов крепко караулити и пишу от них не веляху принимати и ясти. И возневашася на них бесы со отцом их сатаною и ярящеся глаголаху им: «Почто вы на нас сказываєте? Мы вам со всех обителей кур и телят и рыбу сносили да вас тайно кормили». И ругахуся им.

— Да что он с капитаном-то нашим делает, гугнявый этот, странник что ли он, к чему он подводит? — спросил молодой солдат старого, когда в офицерской палате смолкла монотонная речь.

— Отчитывает его... С Василей-то Савичем что-то неладное делается, задумываться стал.

— То-то и я вижу. Да с чего это думать-то он начал?

— Бог его знает... Допреж того капитан Левин из гренадеров гренадер был, кречетом смотрел, а ныне — словно черноризец.

— С-глазу, должно.

— Не с-глазу, а от мыслей это бывает, братец

ты мой, — говорил наставительно старый солдат, что был в прутском походе. — А мысли-то вон эти шатуны напушают... Ишь его нудит!

В соседней палате действительно слышно было, как гугнявый продолжал нудить над Левиным. Нудил гугнявый:

— Ты вот Левиным прозываешься, а не лев ты у Господа, а пес смердящий. Аще хочешь быти львом, подобает ти в ризы ангельские облачитися и житием украситися добродетельным, от грехов и страстей удалятися и от грехопадных мест отпадати, покаянием же себе очищати и чисто, и целомудренно жити, блуда бегати, скверн плотских удалятися...

— Да что ты, старик, наладил — блуд да блуд, да скверны плотские? Мне и без того тошно! — слышался протестующий, хотя слабый голос Левина. — Вот уже четвертый год я не гляжу на женщин...

— Благо делаешь, сын мой... А в ту пору, как ты был в Киеве, в проезд царевича Алексея Петровича, не бес ли в образе девицы леповидныя соблазнил тя?

Левин, по-видимому, был поражен словами старца.

— А ты разве видел меня в Киеве? — спросил он.

— Кто ж тебя тогда не видел? — отвечал

старик.

— Ну, и что ж дальше?

— Дальше ты сам знаешь: уязвила ты красота женская. А то был бес блудодей...

— Врешь ты, старый черт! — вскрикнул с негодованием Левин. — Она — чистая голубица, чистою голубицею и осталась.

— Вон оно что, — сказал молодой солдат, — у нашего капитана — зазнобушка.

В это время послышался торжественный звон церковных колоколов. Все изумились и не знали, что это означает. По улице бежали люди.

— Что это такое? — испуганно спрашивал Левин. — Уж не царь-ли наехал?

— Пропали мы все, пропали батюшки!.. Свят-свят-свят Господь Саваоф⁸, исполнь небо и земля славы Твоя! — слышался растерянный голос странника.

А колокола все громче и громче заливались. Народ все больше валит по улице.

— Ох, Господи! Печерские угодники! Укройте невидимую пеленою своею, — молился

⁸ Слово Саваоф — силы воинства, часто встречается в Ветхом Завете, как одно из имен Божиих, оно определяет беспредельное величие Божие, Его владычество над всем сотворенным.

старческий голос.

— Нам нечего бояться, — сказал старый солдат. — Мы бывали на светлых царских очах.

— Ну, а вот я, дядюшка, не видал его — так страшновато, — говорил молодой солдат. — Сказывают вить, что у него дубинка в косую сажень, и коли что не по нем — не миновать дубинки.

— Что, братец ты мой, дубинка? Она, значит, для больших бояр, а коли наш брат-солдат в линии как есть ходит, так царь всегда бывает милостив. Службу знаешь, артикулы воинские произошел, стоишь прямо, ходишь чертом, ну и все ладно, — резонировал старый солдат.

— Так-то так, дядя, а все боязно...

— Куда ж ты, старик? — снова послышался голос Левина.

— В пустыню, батюшка, во прекрасную пустыню иду укрыться от света сего прелестного... А то не ровен час — царь увидит, а он нашего брата не жалует.

Колокола смолкли. Слышен был только говор на улице.

VI

СТЕФАН ЯВОРСКИЙ В НЕЖИНЕ

Оказалось, что не царя встречал Нежин

колокольным звоном, а бывшего обывателя своего, которого нежинцы видели босоногим мальчиком... Много лет прошло с того времени, когда тот, кого теперь встречали по-царски, бегал по нежинским улицам маленькими босыми ножками... Много с той поры пережила Россия — обритая, одетая в немецкое платье, повернутая лицом к западу. Много пережил и тот, кого теперь встречал Нежин церковным почетом и колокольным трезвонком.

Это был Стефан Яворский, митрополит рязанский, блюститель патриаршего престола в России.

Яворский был украинец по рождению. Родина его — Нежин. Отсюда он поднялся на самую высокую должность в государстве и постоянно жил в Петербурге со времени его основания. Но высокий сан, жизнь среди суровой природы севера, нравственный холод, которым веяло от царя и от всего, что от него исходило, тяготили Яворского. Он скучал по Малороссии, тосковал по своей далекой родине: там прошла его молодость... Он просился у царя на покой, чтобы хоть перед могилой родной воздух отогрел и успокоил его усталую душу, но царь не пускал его: таких умных, незакорuzлых в предрассудках старины, какими были великорусские невежественные духовные деятели, таких образованных и в то же время податливых работников в деле церковных реформ,

какими являлись украинские духовные, царь очень ценил и нелегко с ними расставался.

Старые, усталые от многочитанья глаза митрополита, глаза, много видевшие на своем веку, прочитавшие с холодной непоколебимостью государственного человека сотни смертных приговоров, от его же власти исходивших, выдавшие и блеск, и роскошь, взоткнутые на колья головы и поверженные на смертные колеса трупы казненных, глаза эти светились слезами умиления, когда Яворский въезжал в родной город, где он не знал ни власти, ни блеска, ни славы, а был счастливее, чем теперь, когда изведаль все это.

Въехав в город и направляясь прямо к церкви, митрополит заметил на одном огороде очень высокое и очень старое дерево, на котором чернелось воронье гнездо и вокруг него с криком кружились вороны. При виде этого дерева кроткие, уже потухавшие от старости глаза митрополита блеснули теплым огнем и рука его, украшенная дорогими четками, благословила и дерево, и воронье гнездо. Сидевший с ним в одном экипаже маленький певчий, любимец митрополита, с удивлением взглянул на своего владыку.

— Тебя изумляет крестное знамение, которым я знаменовал сие дерево и гнездо ворона? — спросил митрополит мальчика.

— Да, владыко, — отвечал тот.

— Дерево это дорого мне по воспоминаниям детства, — сказал блюститель патриаршего престола. — Когда я был отроком, это дерево было такое же высокое почти, как и теперь, только тогда оно не имело сухих ветвей. И тогда на нем было это же воронье гнездо. Я любил лазить на это дерево в детстве моем и всегда наблюдал, как вырастали в вороньем гнезде птенцы, питаемые неустанно трудившеюся матерью. Эта ворона научила и меня труду, и я благословил ее гнездо... Сколько поколений вывелось в нем с тех пор, как я не видал этого дерева!..

Но было и еще одно воспоминание молодости, которое, при виде старого дерева, чем-то растапливающим прошло по застывшему уже сердцу маститого блюстителя патриаршего престола, воспоминание, посещавшее его иногда и в минуты глубокого раздумья о судьбах России, и во время бесед в царем, и за чтением житий святых и подносимых ему для прочтения смертных приговоров, воспоминание, пробиравшееся к его сердцу сквозь митрополичье облачение, в алтаре и на амвоне, в момент благословения народа или во время поучений паствы, воспоминание, связанное с старым деревом, запахом «любистка» и женским шепотом...»Сердце мое... рыбка моя...» Невольно вздрагивал в руке митрополита благословляющий крест во время большого торжественного выхода,

когда это воспоминание с запахом «любистка» налетало на него среди церковного пения, в курениях фимиама, — воспоминание, без которого вся его жизнь казалась бы долгою, холодною, беспросветною ночью... Но об этом воспоминании он не сказал не только своему маленькому певчему, но и никому в продолжение всей своей долгой, безрадостной жизни.

Теперь, в 1715 году, когда знаменитый сподвижник Петра, славный проповедник и блюститель патриаршего престола, святитель Стефан Яворский невольно вспомнил о «любистке», он приехал в Нежин на освящение вновь построенной в этом городе церкви.

И вот он совершает это освящение... Ярко блестят паникадила, унизанные горящими свечами. Ярко искрятся на митрополите пышные ризы, отливающие разноцветными огнями драгоценных камней. Воздух церкви переполнен, не в меру насыщен ладаном. Церковь полна народа. И седые головы стариков с сивыми казацкими усами, и морщинистые лица старушек, и чубатые головы черномазой молодежи, и яркоглазые головки украинок, утыканные барвинками, васильками и «любистками», — все это обращено в ту сторону, где, подняв руки к разрисованному куполу, молится старый митрополит... Жарко молится он о благоденствии своей родины, о страждущих,

плененных... Утомленные легкие едва выносят, вдыхая в себя жаркий, пресыщенный всякими запахами воздух... но из всех этих запахов запах «любистков» выделяется чем-то особенно едким для сердца, для глаз — и старым глазам владыки плакать хочется, закрыться, чтобы хотя «в тонце сне» еще раз увидеть то старое дерево, то воронье гнездо, обонять тот запах «любистка...»

И у Левина на душе, как видно, был свой незасыхающий любисток... Вон он, у правого клироса, худой, бледный, стоит и плачет...

Стефан Яворский видит это. По окончании службы он высылает из алтаря своего маленького певчего узнать, что это за человек, который так горько плачет.

— Велел владыка спросить тебя, какого ты чина человек? — спросил маленький певчий.

— Кропотова Гаврилы полка капитан, Василий Левин, — отвечал тот, — и ныне оставлен с прочими больными в Нежине.

Певчий ушел. Через минуту, он опять возвращается из алтаря и подходит к Левину.

— Велел тебе архиерей побывать у него на квартире, — говорит он.

Левин благодарит и выходит из церкви. Народ не расходится. Пчелиным роем он волнуется и жужжит около церкви, у паперти, у ворот, За оградой. Яркие цвета одежды, особенно на

женщинах, раскрасневшиеся лица, головы, убранные цветами, шеи, унизанные монистами, косы с развевающимися яркими «стричками» — все это напоминает Левину Киев, лавру, приезд царевича, берег Днепра... Черная головка с цветами... голос, звук которого годы не убивают, страдания не вытравляют из нервов, из сердца... этот дорогой голос — его не слышно... И вместо него — звуки проклятой песни:

Ходи изба, ходи печь,
Хозяину негде лечь.

Левин, вспомнив о приглашении митрополита и безнадежно опустив голову, побрел домой.

Целых три дня не решался он воспользоваться приглашением. Чем мог помочь его горю митрополит? Разве он в силах возвращать миру людей, которые заживо похоронены? Да и понятен ли будет для него тот мрачный мир, в котором блуждает теперь душа Левина?

Но, как бы то ни было, через три дня он пошел к Яворскому. Митрополит встретил его ласково, благословил не столько рукою, сколько добрым выражением глаз, глубоко заглянувших в душу Левина... Исповедальней казалась ему полутемная, с глядевшею в окна зеленью комната, в которой принял его старый архиерей, только это была не та

исповедальня, где каются в грехах. Левин не чувствовал над собой тяжести грехов, над ним тяготело что-то иное, ему самому неизвестное. Одно, что отчетливо и остро сверлило его память, — это чувство утраты чего-то дорогого, незаменимого, невытравливаемого из души.

Митрополит был один. На столе лежали крест и евангелие. На маленьком окошке, нижняя шибка которого была поднята, скакал воробей, смело поклевывая крошки, брошенные ему рукою старого архиерея. В комнатке пахло «любистком», зеленью которого был обвит крест.

— Горе есть у тебя на душе, сын мой, — почти с первых слов заметил митрополит.

— Болен я и душою, и телом, преосвященнейший владыко, — отвечал Левин.

— Несть болезни, ея жебы не уврачевал Господь, — заметил митрополит и кротко улыбнулся.

Воробей скакал уже по столу, боясь приблизиться к огромной печерской просфоре, лежавшей рядом с евангелием.

— Ты, сын мой, похож на этого воробья: хочешь вкусить просфоры райской — и боишься, — серьезно сказал митрополит.

Левин молчал. Подняв глаза, он увидел, что митрополит с грустной сосредоточенностью смотрит на него и как бы боится прервать течение

его мыслей.

— Я недаром призвал тебя, — сказал, немного помолчав, митрополит. — Кто так плачет, как плакал ты в храме, у того в душе есть сокровище невидимое. Мои глаза многое видели в этой жизни, сын мой, и я научился отличать одну человеческую слезу от другой. Немногие так плачут, как ты плакал. Не за себя только были эти слезы, они мешались, невидимо, с другими слезами человеческими. А сих последних много, о! много, сын мой. Ты понимаешь меня?

— Не знаю, владыко.

— Сердце твое поймет меня. Поведай мне жизнь свою, покажи кости жизни твоей, плоть же и дух ее я уразумею... Давно ты находишься на государевой службе?

— Пятнадцатый год, владыко.

— Прилежит ли сердце твое к оной?

Левин не отвечал. Митрополит подошел к столу, взял евангелие, раскрыл его и, подавая Левину, сказал: «Прочти это, сын мой».

Глаза Левина упали на текст евангелия: «Да не смущается сердце ваше», — начал было он читать и — не мог. Слезы подступили клубком к горлу, к глазам, и он заплакал.

— Плачь, сын мой, — тихо сказал старик и положил руку на голову плачущего.

Левин, схватив эту руку, с плачем припал к

ней губами.

— Владыко... преосвященнейший... прости меня, — говорил он, удерживая истерическое рыданье. — Мне легче стало... Я исповедую тебе жизнь мою...

Он остановился, как бы собираясь с силами. Митрополит, благословив его евангелием, положил книгу на стол.

— Сядь, сын мой, — сказал он.

В комнате воцарилось молчание. Воробей, наскучив бесполезным хождением около неприступной печерской просфоры, выскочил за окно на соседний бузиновый куст и вступил в ожесточенный бой с другими воробьями, чем-то его обидевшими.

— Не жилец я на этом свете, только Бог смерти не посылает, земля меня не принимает, — сказал Левин, несколько успокоившись, — нет мне могилы на белом свете, должно быть, дерево, что Господь на гроб мне растил, черви источили, громом разбило... саван мой на рубашку врагу моему лютому смерть сама перешла... Да, нет мне гроба и савана... В утробе матери меня кто-то проклял...

— Не говори так, сын мой, не гневи Бога, — кротко заметил старик.

— Я о себе говорю, владыко, о моем рождении проклятом... Родила меня дворянка, и

отец мой роду дворянского, и я сам от семени дворянского, не от плоти и похоти Хамовой... А вышло мне Хамово житье⁹ — участь Каина¹⁰, хоть я и не убивал брата своего... Родился я далеко отсюда, за Пензой, под городом Саранском... Должно быть, мать моя горьким молоком меня вздоила, горькой полынью поила, на полыни в зыбке качала, что жизнь мне далась горькая... Помню добрые очи дьячка Турвона, что грамоте меня учил, крестному знамени наставлял — сам я закрыл эти очи добрые грошами медными, что и в могилу с ним пошли... На эти гроши я выучился, с Турвоном дьячком и наука моя в могилу пошла... Не посылали меня царь за море учиться, Бог помиловал, не из такого я знатного рода был, чтоб обнемечиться... А все же как стрельцов всех перевели словно тараканов...

При этих словах митрополит усиленно начал перебирать четками и так загремел ими, что

⁹ Хам — один из трех сыновей Ноя, спасшийся со своей женой в ковчеге от потопа, но оказавшийся непочтительным к отцу, из-за чего подвергся его проклятию.

¹⁰ Каин — первородный сын Адама и Евы, ставший не только первым убийцей на земле, но и братоубийцей, за что Господь Бог сделал ему знамение, «чтобь никто, встретившись съ нимъ, не убиль его».

воробей, снова подбирившийся к просфоре, с испугом отскочил от нее, а Левин остановился.

— Продолжай, сын мой, — спокойно сказал митрополит, как будто сосредоточивая свое внимание на воробье.

— Так вот, как стрелецкую кровь всю извели, понадобилась и дворянская кровь... Взяли и меня... Служил я и в Полуехтова полку, и в гренадерах у Кропотова Гаврилы... Много я наслышался промеж офицеров о том, что наверху делается...

Митрополит опять зачестил четками. Опять у него, кажется, на уме воробей.

— Ну, так что ж дальше? — спросил он.

— Много, много страшного в уши мои вошло, владыко, а назад не вышло, на сердце камнем упало. И лежит там этот камень-то, алатырь камень горячий, что в сказках сказывается...

Левин задумался. Лицо стало еще бледнее, нервные подергивания обнаруживали большую внутреннюю тревогу.

— Провожал я царевича, — заговорил он как бы про себя, опустив голову.

Стефан Яворский весь сосредоточился на воробье. — «Царевича... — повторил он тихо. — Гм... ах ты, воробушек, воробушек... ну?»

Левин взглянул на него.

— Ничего, сын мой... Я вот на Божию птичку смотрю, — сказал старик. — Ну, что ж?

— Провожал я царевича, — продолжал Левин, — такой-то он засмучоный да как будто притомленный...

— А куда ты его провожал?

— В Киев, когда он ехал из Львова-града... Молился он печерским угодникам и плакал... Заплакал и я... Должно быть, пыль с ризы Иоанна Многострадательного, когда я молился, попала мне на сердце... Ну и с тех пор не знаю я покою, владыко... В землю уходит мое сердце, а умирать не умираю...

Он замолчал. Митрополит ждал, когда он снова начнет. Тот все молчит.

— Что же еще, сын мой? — спросил старик.

— Ничего... все.

— Ты не был женат? — спросил митрополит, немного помолчав.

— Нет, владыко.

— Почему же?

— Я похоронил... не я, а другие похоронили мою невесту, когда она еще не умирала.

— Как так? Где? Кто?

— В Киеве, после провод царевича, я встретил девицу... Я случайно, владыко, спас ее от смерти — вытащил из Днепра, когда она совсем уже утонула... Мы полюбили друг друга. Она из хорошего малороссийского роду.

— Чьих родителей? — спросил митрополит.

— Она дочь сотника Евстафия Хмары.

— О, я знаю его: хороший человек. Так что же вышло?

— Так этот Евстафий Хмара с своею сотнею ходил с царем в поход. В прутской кампании Хмара показал великую храбрость и оказал царю личную услугу. Когда визирь с своими войсками окружил при Пруте российские войска и царю предстояло быть отрезанным от своей армии, Хмара вызвался ехать к царю с вестями. Проскакать мимо турецкой позиции, — а другого исхода не оставалось, — значило, идти на верную смерть. Хмара слывет лучшим наездником во всех малороссийских полках, почитается якобы «характерником», и вот он-то проскакал мимо турецкой позиции. В него сыпались стрелы и пули, а он так умел изворачиваться с лошадыю и укрываться за нею, что в нее попало несколько стрел и пуль, а он остался цел и успел доскакать до царя на раненой лошади, которая скоро и пала. За это царь и пожаловал его царским жалованьем, а чтобы еще вящшую оказать ему милость, он, узнав, что у него есть дочь невеста, обещал проездом через Киев выдать ее замуж за своего денщика Ивана Орлова. «Надо-де, говорит, мешать великороссийскую кровь с малороссийскою, понеже оттого знатные авантажи для государства произойти могут: от таковаго-де скрещивания подобные изменнику Ивашке Мазепе

злодеи в малороссийских людях всеконечно переведутся».

Тонкая улыбка пробежала по умным глазам митрополита, но он ничего не сказал, а опять занялся воробьем.

Левин продолжал, как бы торопясь покончить тяжелую исповедь.

— Царскому повелению нельзя не повиноваться. Когда отец объявил это моей невесте, она с горя хотела наложить на себя руки. Меня в то время в Киеве не было, я был с своим полком в походе... Когда же после воротился в Киев, чтобы вступить в брак, невеста моя уже приняла пострижение в ангельский чин... От смерти ее спасла игуменья... А царю доложили, что она раньше дала обет Богу... После мне сказывали, что царь велел перевести ее в один из великороссийских монастырей, куда-то почти к самому Санктпитебурху, но в какой — того не ведают... Так я ее и не видал.

Левин замолчал и как-то весь осунулся.

— Да, испытание послал тебе Господь Бог, — сказал старик с чувством. — Но, сын мой, надо покориться Его святой воле.

Глаза Левина блеснули зловещим огнем, но он ничего не сказал.

— Что же ты намерен делать теперь? — спросил митрополит.

— Просился, за болезнию, в монастырь... Может, там найду свой саван, хотя бы и черный — белый украли у меня... Да генерал Ренне не пускает без указа, говорит, что царь-де накрепко заказал не увольнять из военной службы в монастыри, а велел-де определять к делам, и в случае болезни для свидетельства отсылать в Санктпитебурх.

— Так просись туда, и когда туда приедешь, то ни к кому прежде не являйся, а явись ко мне, — сказал митрополит.

В это время в комнату вошел, отстраняя рукою маленького певчего, хотевшего проскользнуть вперед, новый гость, который, глубоко наклонив голову, произнес:

— Черниговский полковник Павло Полуботок прийшов просить благословения высокопреосвященнейшего владыки...

Левин встал и ожидал приказания.

— Да будет над тобой Божие благословение, — сказал митрополит, благословляя его. — Не забудь моих слов.

Затем тотчас же обратился к Полуботку. Левин вышел.

VII КАЛИКИ ПЕРЕХОЖИЕ

Стоном стонет Троицкая ярмарочная площадь

в Харькове. Всевозможные крики зазывателей, предлагателей и торговков, которые точно об заклад побились покрыть весь ярмарочный гам своими голосами; громкие вопли и глухие, но бьющие в ухо унисоны нищих, ходящих, стоящих, водимых и возимых по всем направлениям, невообразимый гвалт, стоящий над цыганским полем, на котором цыгане устроили ристалище из негодных, заезженных и всеми способами искалеченных лошадей; отчаянная музыка самых негармонических, но голосистых, скрипучих и визгливых музыкальных инструментов; ржанье лошадей, точно одуревших от цыганского экзамена и отчаянно взывающих о спасении; писк, визг, смех и покрывающий все это однообразный гул, в который амальгамировался весь нестройный хаос звуков, — все это как-то особенно приходится по сердцу русскому человеку, любящему ярмарку, ныне вымирающую, любящему окунуться с головой в этот омут звуков, потолкаться в этом примитивном клубе, полюбоваться, как вон, на солнечном припеке, донской казак, привстав на седле, с гиком обгоняет скачущего охляп цыгана и стегает его нагайкой, а запорожец, запродавший рыбу с условием, чтобы москаль, вместо могоарычу, поставил ему «музыки», с невозмутимой серьезностью, точно священнодействуя, выбивает гопака в кругу таких же, как он сам, серьезных

усатых чумаков, привезших на ярмарку соль и спокойно ожидавших покупателей, тогда как «музыка», состоящая из двух пейсатых жидков с двумя совершенно разноголосыми скрипками, визжала так, как сорок тысяч поросят визжать не могут. А вон там, где особенно людно, сопровождаемые любознательными бабами и детьми и ведомые рябым пареньком, знакомые уже нам по Киеву калики перехожие гудут, буквально гудут, словно шмели, монотонную старо-каличью песню:

Котора калика заворуется,
Котора калика заплутуется,
Котора обзарится на бабицу,
Со бабою котора стакнется,
Со девкою спарится, —
Зарывать того калику в сыру землю...

— Захар Захребетник! Здорово, старина! —
раздался вдруг голос из толпы.

Один из калик, ветхий, но коренастый старик с сросшимися бровями, чуть не уронил при этом неожиданном возгласе своего посоха и невольно остановился. Остановился и его товарищ с поводырем.

— Здорово, Захар! — повторился возглас.

К каликам подошел Левин и стал около

старшего из них. Калика страшно ворочал зрачками слепых глаз и переминался на месте.

— Здравствуй, кормилец, как те назвать, не знаю, — сказал он нерешительно, — слепенький вить я, ни синь-пороху не вижу.

— Знаю, знаю, — отвечал Левин. — А давно я тебя не видал.

— Да ты сам-то кто же изволишь быть, родименький?

— Угадай.

Слепец задумался и, беззвучно шамкая что-то, только разводил руками.

— Нету-ти, отец родной, не угадаю — где, чаю, угадать кого слепому на чужой стороне?

— Да как ты сюда попал?

— В Киев тоже, кормилец, идем — к угодничкам.

— А из села Левина давно? В Пензе были?

Калика даже об полы руками ударился и замотал головой, бормоча: «Богородушка-матушка, надоумь... Микола угодник, осени...» — А Левин, улыбаясь, продолжал допрашивать свой допрос:

— А что поделывают ваши бары — Левины, Герасим Савич да Василий Савич?

Калика спохватился: «Ах, батюшка-барин, Василь Савич! Как вас Бог милует? Как это вы из-за моря-то в Харьков попали? У нас сказывали, будто вас с немецкую веру раскрестили и за море услали».

— Нет, Бог миловал.

— А братец ваш, Герасим Савич, — дай Бог ему здравия, все с своими мужиками короводится — бегают в мертву голову... Как пошли эти указы на счет некрутства да лесов, чтобы некрут в кандалы заковывать, а за порубку лесу, коли кто дерево срубил, тому ноздри рвать, а коли кто на лапти ободрал, — того кнутом бить, да как стали на деревья казенные «пятна» класть, а народ сгонять в Питер, чтобы таким же побытом, как и лес, пятнать печатями да селить, слышь, на острове на Буяне, на море на кияне, ну, и стал народ бегать, уйму ему нет.

— Так, так... А пойдете-ка вы ко мне... Я рад тебя видеть, старого балагура.

— Как же, батюшка-барин, махоньким еще вы любили старого калику Захребетника слушать.

— А кто это с тобой товарищи?

— Что калика слепой — то саратовец... давно со мной ходит. А паренек-ат, коли изволите помнить, так Варварин Полотковой сын.

— Это той, что петь мастерица?

— Ейный. В мать-ту и паренек удался — голосистый.

И вспомнилось Левину его родное село... Вечерний хоровод у мельницы и эта белокурая Варюша, голос которой покрывает все голоса хоровода... А там и Киев, и Днепр... Все бледнее и